Анна Федоровна Журбовская была отличная хозяйка. Просто она чудеса показывала. Например, она делала один крем полосатый, разноцветный, всем на зависть и удивленье. Как уж ни хотели прочие хозяйки дойти до этого крема,— никто не дошел. Верьте не верьте, а одна барыня (и богатая барыня) хотела сына женить на дочери Анны Федоровны, чтобы только выведать тайну. Да Анна Федоровна всегда с этими вещами настороже, а барыня была нетерпелива, поспешила, проговорилась. Анна Федоровна дочери не отдала и секрета не открыла.

Ни у кого таких не бывало обедов, ни у кого таких именинных пирогов, как у Анны Федоровны. Кто не помнит, когда ее дочери исполнилось 18 лет, праздновали рожденье и испекли пирог… Как подали этот пирог, так некоторые даже испугались. Один гость (любитель, знаток) встал и сказал, сложивши на груди руки: "Что же это вы такое с нами делаете, Анна Федоровна? Гляжу, несут на блюде… я думал, что генеральского сына несут…"

Но самое-то главное дело рук Анны Федоровны — это были бабы… Если бы кто знал, какие это были бабы!

Анна Федоровна была набожная старушка, со всеми обходительная и ласковая. Смех у нее был приятный, немножечко с дребезжаньем, глаза добрые, носик кругленький, а ростом маленькая. Анна Федоровна давно овдовела. Дочь свою она выдала за советника в губернию, и дочь умерла в первый год замужества; и зять умер вскоре за нею; осталось дитя, девочка. Анна Федоровна взяла ее к себе. Внучка была хорошенькая барышня; добрая, злая ли,— еще того никто не знал, ей всего шел десятый годок: так еще была попрыгушка.

Очень убивалась Анна Федоровна по дочери, очень тужила, пока время взяло свое. Отгоревавши, Анна Федоровна жила счастливо и спокойно. Ее уважали и почитали. Дом у нее был полная чаша. В

комнатах столько шкафов, комодов, сундуков, что уму было непостижимо, что там хранилось, чем наполнялось! Ключей-ключей! Словно от десяти городов. Кто, бывало, ни приедет, так в этот дом равнодушно не войдет; или улыбнется, или вздохнет. Бывало, приедет батюшка, так все говорит: "Это вам, Анна Федоровна, за ваше благочестие. У вас земля обетованная; какие поля урожайные, сады плодовитые, огороды тучные!"

У Анны Федоровны был племянник, молодой, красивый и богатый помещик. Все приезжал на разных лошадях. То приедет на серых, то на гнедых или на вороных; были у него даже пегие лошади. Звали этого племянника Алексей Петрович, и жил он от Анны Федоровны близко,— всего в двух верстах было его имение Саковка. Родителей его не было в живых, ни сестер, ни братьев, жил один и часто ездил к Анне Федоровне. Приедет, сколько варенья съест, бывало, сколько пастилы! С барышней играет в жмурки, наряжается в Анны Федоровнин чепчик и в шаль, поет, проказничает,— всегда его жалко отпустить домой.

Но он только между своими бывал резв, а чуть чужой человек, он сейчас оробеет. Как ни отлично одет, а все себя оглядывает да краснеет. Очень любил он гостей, пиры, а знакомиться ему было все равно, что в полночь на кладбище идти. Признавался, бывало, Анне Федоровне: "Душа не на месте, тетенька, пока войдешь, раскланяешься, разговоришься! Ни пить, ни есть ничего не хочется; ничего, кажется, не удивит, не испугает, хоть дом обрушься!"

Анна Федоровна обнадеживала его: не беспокойся, мол, это от молодости, это пройдет.

— Тогда, тетенька, я буду счастливейший человек. Возмужал Алексей Петрович, глядит Анна Федоровна,— усы отпустил.

— Зачем это ты усы отпустил, Алеша? — спросила она.

Он рад, что его усы увидали, только радости показать не хочет, смотрит вверх и отвечает:

— Да так…

— Ты, право, милее без усов, Алеша, сбрей их! Необходимости ведь нету, ты не военный. Сбрей!

— Да как же мне без усов, тетенька? Я вот на охоту с ружьем хожу, верхом езжу…

— Ну, ну, как хочешь, дружок, не огорчайся. Все это, чай, для какой-нибудь барышни себя украшаешь; барышни любят все новое и необыкновенное.

— Да, право, тетенька, я как-то нечаянно отпустил усы…

— Рассказывай! — смеется Анна Федоровна.— Я вон вижу новое колечко. Нет, ты рукой-то не верти, вон на безыменном пальце, третье снизу — это у тебя новое! Покажи-ка?

А у Алексея Петровича было колечек несметное множество; сколько дома у него хранилось, в шкатулке,— все двадцать два ящика полнехоньки,— на руках сколько носил! И всякие были у него колечки: и незабудочки, и змейки, и витком, и цепочкой, и сердечком, и якорем, и замочком… Барышня себе кричит: покажи, покажи колечко! Он не показывает, бежит от нее, она за ним. И пойдет беготня, поднимется шум, бегают и шумят, пока проголодаются.

Только вдруг Алексей Петрович словно пропал, очень долго не был. Посылала Анна Федоровна узнать, здоров ли,— его дома не застали. Потом приехал, похудел, побледнел; на руке ни одного колечка, И варенья никакого не хочет, и с барышней нашей скучает. Спрашивали, спрашивали, что это с ним, ничего не сказал и опять надолго пропал.

Опять посылает Анна Федоровна о здоровье узнать, и опять его дома нет. Журбовские люди проведали от саковских людей, что Алексей Петрович почти что дома и не живет, а все в Н-ском уезде. И кучер рассказывал, что гостят они у одной богатой помещицы; та помещица вдова, дородная и смирная барыня; что дом там каменный, есть карета и дрожки, лошади хорошие, только кучер очень стар; что там ключница презлая; что там молодая барышня красавица, и гуляет эта барышня вечерами по аллее с Алексеем Петровичем, а старая барыня с балкона за ними наблюдает; чуть слишком заговорятся — она их и кликнет на балкон. Помещица эта прозывалась Турченкова.

— Дай бог Алеше! — говорила Анна Федоровна.— Мы с тобой, Варенька, на свадьбе погуляем.

— Когда б свадьба поскорей, бабушка! — отвечает барышня.

— Бог даст, дождемся!

И дождались. Приехал Алексей Петрович веселый, золотое кольцо на руке,— обручен. Побыл недолго, ничего толком не рассказал и уехал. "Дела, дела!" — говорит. А какие там дела? Рассказывали, просто катался — поедет в одну сторону, проедет верст пять,— в другую; то лес объедет, то в поле или в степь. От радости не сиделось ему на одном месте.

Ну, женится — и женится, хорошо. Анна Федоровна послала его невесте образок в серебряной позолоченной ризе, невеста ей написала родственное письмо, и невестина мать тоже. После троицына дня была свадьба назначена.

Все окружные барыни и барышни сбирались попировать у молодых; все Алексея Петровича поздравляли и на весь век ему счастья желали, все было весело и мирно; замечали, что даже все это время ни бурь, ни гроз не было. Только смутило раз Алексея Петровича вот что: отдал он

назад колечко одной барышне, а барышня ему вместо всякого ответа прислала пулю. Да, свинцовую пулю, настоящую.

— Как это принимать мне, тетенька? — спрашивал он у Анны Федоровны.

— Да никак. Брось эту пулю, чего ты с ней носишься!

— Я, право, не знаю, что все это значит…

— Да ничего,— блажь, да и только.

И правду, видно, блажь была; после эта барышня тоже была у молодых, и веселилась у них, и ужинала.

В это самое время приехал к Анне Федоровне из Н-ского уезда знакомый, да с первых слов и говорит ей:

— Ну, матушка Анна Федоровна, теперь мы с вами потягаемся. Смотрите, вы свою славу не потеряйте: едет к вам не молодая хозяйка, а восьмое чудо в свете.

Анна Федоровна распрашивает, а гость рассказывает:

— Эта молодая барыня так бабы печет, что с ней никто в мире не может сравниться. И особенно печет она одну ананасную бабу — точный ананас.

— Дух ананасовый, я знаю,— сказала Анна Федоровна.

— Какое! Ананас сам, своей особой! Если зажмурите глаза да в рот вам положить и спросить, что это? Вы скажете— ананас.

— Ну, это вы городите! — сказала Анна Федоровна.

— Вот сами увидите, вспомните мои слова. А то еще печет она тюлевую бабу — ну, матушка! Не мне, дураку, это рассказывать! Увидите сами лучше.

Гость остался у Анны Федоровны обедать, за обедом шутил, смеялся, хвалил обед и спрашивал не раз Анну Федоровну, о чем она задумывается.

— Я вот удивляюсь вам, как это вы-то никогда ни о чем не думаете, батюшка? — отвечала ему Анна Федоровна.

— Оттого не думаю, Анна Федоровна, что мысли ни к чему не приведут, а только состарят, будь им пусто! Теперь с кем ни увижусь, все мне говорят: "Вы опять помолодели",— а если бы я мыслями занимался...

— Надо о душе своей подумать всякому,— перебила Анна Федоровна немножко запальчиво.

"Видно, крепко она огорчилась тюлевой бабою",— подумал он.

Гость уехал, а Анна Федоровна осталась в задумчивости и тревоге. В этот день она ошиблась ключами, ни слова не вымолвила об Алексее Петровиче, ни об его невесте, ни о свадьбе и внучку свою приласкала как-то рассеянно.

А между тем Алексей Петрович уехал венчаться; через неделю его ждали с молодою женою в Саковку.

Прошла неделя. Анна Федоровна все была задумчива; то она говорила: "Как это время бежит быстро!" — то говорила, что время тянется долго.

Приехали молодые в Саковку, Анна Федоровна услышала это и побледнела. Она строго выговорила внучке за ее радость и прыганье при этой вести. Анна Федоровна была в тот день наряжена, как в большой праздник, но была бледна и встревожена; она не сидела, а все ходила по комнатам, останавливала внучку за малейшую резвость и заставляла ее смирно сидеть. Так прошло утро. Наконец молодые приехали. Вошел Алексей Петрович и ввел молодую жену,— ах, что это была за красавица! Свежая, румяная, статная, глаза карие, большие, светятся, как свечки, и такие живые, быстрые, и такие веселые! Зеленое шелковое платье так и шумит; в ушах золотые серьги, и так славно вьются темные волосы на белых височках! Вовсе была не застенчива, а разговорчива и приветливая. Сейчас заговорила с Анной Федоровной, приласкала Вареньку.

А Анна Федоровна была сама не своя. Где ее всегдашняя обходительность? Где ее участливость? Хотя она говорила молодой ласковые слова, но во взгляде у нее была только тревога, в лице печаль, голос неровный.

Молодые у нее обедали. За обедом все беспокоило Анну Федоровну, все ей казалось или не доварено, или пережарено; она говорила очень мало, потчевала грустно. На что Варенька ветреница, а и та заметила, что бабушка сама не своя. Алексей Петрович не заметил — он в сторону не глядел, а глядел только в женины глаза.

Когда молодые возвращались домой, молодая и говорит:

— Мне твоя тетушка понравилась, Алеша; только что она такая печальная?

— Нет, она веселая.

— Где же веселая, Алеша? Точно с похорон воротилась сейчас! И все по сторонам оглядывается, будто пожара ждет.

— Это тебе так показалось, Глаша.

— Вот еще, показалось! Разве я маленькая?

— А может, сегодня с ней что-нибудь случилось. Да бог с нею!

Они заговорили о другом.

Через день после этого Анна Федоровна с Варенькой поехала к молодым. Варенька была радехонька, вертелась в коляске и тараторила, как заведенная. Анна Федоровна молчала и глядела все в одну сторону, на мелькающие поля.

Молодые встретили их на крыльце, и гак весело и радостно встретили! Просили обедать — Анна Федоровна согласилась.

Дома молодая была еще милее: резвая, игривая, как котенок, ласковая, живая. Она и по саду побегала с Варенькой, и пела, и Анну Федоровну обняла, и на органе играла. Алексей Петрович не мог на нее наглядеться; чуть она отходила, он ее кликал и беспрестанно целовал у нее руки.

— Полно, Алеша! Какой ты скучный! — говорила молодая.

— А уговор, Глаша? — напоминал Алексей Петрович.— У нас уговор, тетенька,— говорил он Анне Федоровне,— такой уговор, что если я в час не успею поцеловать у ней ручек сто раз, так в следующий час имею право целовать их хоть тысячу раз.

Анна Федоровна слушала, а ни слова в ответ, ни улыбки, даже не взглянула ни разу,— глаза в землю у ней опущены. Ни о чем она не расспросила молодых, ничего у них не похвалила, а у них было очень хорошо. Дом большой, светлый, отделан и убран заново, все как с иголочки; под окнами у них цвели розаны, белая акация, сирень… И

день этот выдался чудесный — ясный, жаркий. Дом стоял на горе; по горе сад старый, густой; под горою река гремела по камням.

Да ничто, ничто не веселило Анну Федоровну. Заметил даже Алексей Петрович и спросил у ней:

— Что с вами, тетенька?

Анна Федоровна печально ему улыбнулась и ответила:

— Поживи-ка с мое, Алеша, узнаешь!

— Так отчего ж вы невеселы? Отчего невеселы? — пристал к ней Алексей Петрович.

— Где ж мне на старости лет так веселиться, как вам, молодым. Когда-то веселилась и я, теперь вы мое место заступаете, а мне уж умирать пора!

Такого мрачного ответа молодые не ожидали: они на время умолкли; потом опять пробовали тетеньку развеселить, да никак не удалось им, и они перестали хлопотать.

Сели обедать. Анне Федоровне в каждом кушанье слышался ананасовый дух; все ей казалось приготовлено как-то особенно. Но не хотела она спрашивать, да не выдержала, спросила:

— Что, у вас теперь новый повар?

— Нет, прежний,— отвечал Алексей Петрович.— А что, обед лучше, чем бывало? Это вот кто хозяйничает.

Он на жену показал.

— Я слышала, что вы, Глафира Ивановна, большая хозяйка,— сказала Анна Федоровна.

— Ах, какая хозяйка! — вскрикнул Алексей Петрович.— Она и вам даже не уступит, тетенька.

Глафира Ивановна смеялась.

— Она такие пирожки сочиняет, такие подливки, что ум за разум заходит… Расскажи-ка, Глаша, какие ты вчера пирожки сочинила?

— Вот еще! Есть что рассказывать!

— Расскажи, Глаша! Расскажи тетеньке!

Анне Федоровне точно холодная иголочка входила в сердце.

— Да зачем же? — промолвила она.— Не принуждай к этому Глафиру Ивановну.

— Тетенька,— сказала Глафира Ивановна,— зачем вы меня Ивановной зовете? Он — Алеша (она кивнула на мужа), так я — Глаша.

Анна Федоровна вдохнула, поглядела сперва в левую, а потом в правую сторону, а потом опять опустила глаза в землю.

— Вы меня Глашей зовите, тетенька,— просила ее Глафира Ивановна.

— Нет, Глафира Ивановна, это невозможно.

— Да отчего же, тетенька?

— Да так, Глафира Ивановна.

— Пожалуйста, тетенька! Алеша, проси. Что ты все только глядишь! Лучше попроси тетеньку.

— Тетенька! Зовите Глашу Глашей,— стал просить Алексей Петрович.

— Нет, Алеша, не могу я так Глафиру Ивановну звать.

Глафира Ивановна немножко вспыхнула, немножко отодвинулась и замолчала.

— А помнишь,— сказал ей Алексей Петрович,— помнишь, как я тебя звал Глафирой Ивановной? Громко, бывало, говорю: Глафира Ивановна, а в уме: Глаша! Глаша! Глаша!

Она засмеялась, и стали вспоминать то, другое…

Анна Федоровна рано уехала домой; как ее ни упрашивали остаться ночевать или хоть остаться ужинать — Анна Федоровна не уступила просьбам и уехала.

Как затосковала с той поры Анна Федоровна, так больше и не развеселилась. Бывало, у нее лучшее время в году, когда на зиму запасы заготовляются; каждая неделя что-нибудь новое; сварят варенье,— пойдет сушенье плодов, соленья разные, маринованье,— ах какая беготня тогда, какой шум, говор, как все смелы тогда! Знают, что барыня не разгневается ничем: хоть при ней подерись, так простит. Она сидит в кресле, распоряжается, приказывает и на все глядит светло и снисходительно; лицо у нее спокойное и довольное. А в этот год Анна Федоровна хозяйничала с тревогою, все было не по ней, ничем ей угодить нельзя; она даже никогда не попробует приготовленья, едва глянет и поскорей прячет в кладовую, точно легче ей, как с глаз долой.

Она больше теперь сидит в уголке, а не под окном, побрякивает ключами и подпевает какую-то грустную-прегрустную песенку.

Приедет ли кто навестить ее, она не разговорчива, как прежде, вздыхает, едва слушает, а если изредка разговорится, так все о молодежи, и с огорчением говорит, что за молодежь нынче стала — заносчива да смела, все умеет да все знает. Она уж и о Вареньке своей не говорила, как прежде: "Пристрою свою Вареньку, да ее счастьем утешаться буду", а говорила так: "Кто знает, что случится? У горя много дорог, по какой-нибудь придет и посетит". Никуда почти не ездила, праздников не праздновала званными обедами; Варенька скучала, а соседи дивились, думали и предполагали, что бы это значило!

Зато — что за житье было в Саковке! Как там хозяйничали весело! Глафира Ивановна заставляет мужа ягоды чистить, грибы перебирать; он у нее ложку с сиропом студит на льду; он у нее коробочки из бумаги делает на пирожное, и когда он постарается, как превосходно все сделает!

А иногда Алексей Петрович разленится, жалуется, что его изморили работой, просится отдохнуть. Глафира Ивановна не отпускает, велит работать — сколько смеху у них, сколько утехи! И так им было хорошо, что даже на погоду они жаловались только из приличия; приедет кто-нибудь из соседей да плачется на дожди, ну, и они скажут: "Экая погода, в самом деле!"

Им и соседей не надо было; правда, они говорили между собой, как вот весело будет на рождестве, когда они зададут пир, или на Новый год сколько гостей к ним наедет; да это их больше привлекало в будущем, а приезжал кто в настоящем, так Глафира Ивановна носик морщила и говорила мужу: "Когда б не засиделись!"

— Ты, пожалуйста, не зови обедать,— предостерегал Алексей Петрович,— так притворись, будто совсем забыла об обеде.

И оба шли встречать гостя. Правда и то, что после они с гостем и разговорятся, и обедать пригласят, и ночевать оставят, и гость их не стесняет, гость им приятен, и жалко его отпускать, а все-таки, как он уедет, они безмерно рады, что одни. К ним ездили соседи часто, одна Анна Федоровна только не учащала. Глафира Ивановна это заметила:

— Отчего это тетенька не хочет к нам ездить, Алеша? — говорила она Алексею Петровичу.

— Отчего же ей не хотеть, Глаша? — спрашивал Алексей Петрович.

— Я не могу понять, Алеша.

— И я не понимаю, Глашенька. Отчего бы это, в самом деле?

Приедут они к Анне Федоровне, их приезд ее не радует; станут ее расспрашивать, что с нею, расспросы их Анне Федоровне, видимо, неприятны.

Недаром у соседей чутье тонкое, недаром глаза зрячие — соседи этого не пропустили. Пошли догадки да толки, разнеслись разные слухи. Сборища сделались чаще, разговоры живее. Из слухов больше всех принялся один, вот какой: говорили, что вышла ссора у Анны Федоровны с Глафирой Ивановной за наш уезд, что Глафира Ивановна наш уезд очень порочила, а Анна Федоровна ей этого не спустила,— слово за слово, слово за слово — и поссорились. Анна Федоровна уехала домой, не простившись; Глафира Ивановна тогда струсила и пожаловала к ней мириться. На словах они и помирились, но в душе еще пуще враждовали.

Когда это рассказывали, то пожилые помещики вставали со своих мест, закладывали руки в карманы, начинали ходить по комнате и говорили с волненьем: "Да, Анна Федоровна благородная старушка, честь ей и слава, не выдала родного уезда!" Помещицы, особенно

молодые, очень смеялись над Глафирой Ивановной и говорили: "Надо вообразить, как заставила Анна Федоровна эту красавицу замолчать! Нет, это надо вообразить!" Паничи перестали хвалить красоту Глафиры Ивановны, панночки опять стали сердечно говорить с паничами и только изредка упрекали кротко: "А вы еще прокричали ее красавицей!" — на что паничи ничего не отвечали, а притворялись глухими, или вздыхали, или нежней глядели.

К Анне Федоровне каждый день кто-нибудь да наведается; садятся близко, берут ее за обе руки, глядят ей в глаза с участьем и спрашивают об ее здоровье; заводят речь о Глафире Ивановне, о своем уезде или вообще о людях и о людской злобе. Иные просто входили и говорили:

— Анна Федоровна! Я ваш давний друг, я все знаю, что вы потерпели, я знаю вашу доброту и ваше благородство, откройтесь вы мне во всем, как верному другу!

Но Анна Федоровна отвечала:

— Ничего, ничего, право, ничего; я и не знаю, не ведаю, о чем вы мне намекаете.

Анна Федоровна смущалась, еще больше опечаливалась, и ничего нельзя было добиться, ничего нельзя было выпытать.

За это к ней охладели и толковать стали: какая Анна Федоровна странная, непонятная,— потом на нее рассердились, и стали носиться слухи, что не без греха и сама Анна Федоровна.

Некоторые сердца обратились к Глафире Ивановне; кое-кто даже предостерегал ее, чтобы она ни в чем тетке не доверялась и чтобы на родственную любовь ее никогда не надеялась…

Глафиру Ивановну это очень волновало. Она уже теперь не морщилась, когда приезжал гость или гостья, а нетерпеливо ждала этого приезда, бежала навстречу, вела в гостиную, усаживала, и тотчас заходил разговор об Анне Федоровне.

Анну Федоровну трудно было вызвать на откровенность, а Глафиру Ивановну и вызывать было не надо: при одном имени Анны Федоровны она вспыхивала, как порох от огня, удивлялась, негодовала… Уезжал вестовщик или вестовщица, Глафира Ивановна повторяла слышанные новые вести, советовалась с мужем, что ей делать, сердилась на Анну Федоровну; часто доходило до слез. Алексей Петрович ходил около нее, становился перед нею на колени, уговаривал, и сам чуть не плакал.

— Мы ездить к ней больше не будем, Глаша,— говорил Алексей Петрович,— не хочу я ее и видеть!

— Нет, Алеша, нет! Мы поедем к ней. Я хочу ее видеть, я хочу посмотреть, как она меня встречать будет, как заговорит со мной! Поедем завтра к ней! Нет, лучше сегодня!

— Глашенька, бесценная!

— Поедем, Алеша. Поедем непременно!

Глафира Ивановна схватывала колокольчик, звонила на весь дом и приказывала заложить коляску. Она поспешно одевалась, торопила печального мужа, посылала людей одного за другим, чтобы скорей подавали лошадей, и они ехали к Анне Федоровне.

Встречались, здравствовались. Анна Федоровна бледна, сердце у нее бьется; у Глафиры Ивановны сердце бьется и лицо пылает; у Алексея Петровича сердце бьется, и он в тоске смертной. Только одна Варенька спокойна была и скучала: никто с нею слова не скажет, всем не до нее; она уходила из гостиной.

Анна Федоровна и Глафира Ивановна с мужем сидели и вели разговоры о посторонних вещах,— сидели пять, шесть часов сряду,— разговоры были отрывистые, у всех голос дрожал; ни до варенья, ни до печенья никто не дотрагивался, пили только воду целыми, полными стаканами. Потом прощались и расставались.

Надо было платить за посещение посещением — и Анна Федоровна ехала в Саковку. И опять они вместе несколько часов, и опять сердца бьются…

— Ах, боже мой, за что же все это? За что? — часто вскрикивала Глафира Ивановна.

— За что такое несчастье, боже мой? — жаловался Алексей Петрович.

Анна Федоровна тоже к богу взывала.

А между тем страшный час подходил-подходил… Подходила святая неделя.

Хорошие хозяйки еще на масляница покупают муку и сушат,— надо, чтобы мука была легка и суха. С одною этою мукою сколько забот да беспокойств; а в этот год было просто несчастие; два главные купца в городе, евреи, закрыли лавки,— один погорел, а у другого дед умер, а по их закону, если кто в доме умрет, так торговать нельзя прежде положенного срока после смерти. У других евреев мука была нехороша. Все ждали, пока откроет лавку Мошка.

Какое волненье было! Какое нетерпенье! По разным дорогам ехали в город разные коляски, брички, нетычанки, пролетки; у всех хозяек лошади были измучены, сами хозяйки исхудали.

Анна Федоровна поселилась в городе. Она туда переехала еще на масляница, наняла себе домик недалеко от базара; ходила в церковь, молилась богу, в гостях не бывала, а только часто видалась со своим кумом. Кум ее был городничим.

Мошкина лавка открылась на третьей неделе поста,— все туда бросились; между хозяйками вышли бесчисленные ссоры, и на муку поднялись неслыханные цены. В один день всю муку раскупили.

Везут муку домой, и вдруг дома видят и чувствуют, что мука нехороша!

Непостижимо было, как это все прокупились: кажется, не первый раз покупали, и толк, кажется, знали, и на язык брали пробовать, и на руке подбрасывали, и все-таки ошиблись. "Видно, бог за какие-нибудь грехи попутал",— говорили со вздохом.

Но грехи грехами, а тут все напустились на Мошку, как он смел обмануть.

Мошка уверял в своей невинности, божился, говорил о своей преданности, приводил примеры доверия к себе, да между прочим и скажи, что Анна Федоровна вдруг у него закупила больше двадцати пудов муки в первый же день, как он лавку открыл.

Что было при этой вести! Как засверкали глаза! Какие восклицания посыпались! "Так вот кто услужил всем! Вот кто всем удружил!"

Глафира Ивановна вместе с другими горевала и беспокоилась, что мука нехороша; но это горе и беспокойство было благо, если его сравнить с тем, что она почувствовала, когда до нее долетела весть, что Анна Федоровна закупила всю лучшую муку в городе. Что Анна Федоровна закупила лучшую, в этом никто не сомневался; для чего же бы ей закупать столько в самое дорогое время?

Глафира Ивановна плакала и рыдала целый день.

— Ты вообрази, Алеша! — говорила она мужу сквозь рыдания.— Вообрази, что эта мука ужасная! Вообрази, какие у нас будут бабы! Все осмеют нас на целую жизнь! Все это по милости тетеньки! Она нарочно закупила муку, из ненависти ко мне!

— Тяжело, Глаша, досадно! Эх, все сердце у меня изныло,— отвечал Алексей Петрович неровным голосом.

— А у нее, верно, чудесные бабы удадутся, Алеша! — простонет Глафира Ивановна.

— Нет, Глашечка! Нет, этого быть не может! — вскрикивал Алексей Петрович с жаром.— Нет, нет, Глаша!

Но еще большее огорчение ожидало Глафиру Ивановну. Она узнала, что некоторые барыни поехали было к Анне Федоровне с выговорами, а от Анны Федоровны воротились с мукою.

Анна Федоровна на их упреки и укоры отвечала, что она муку закупила потому, что мука очень хороша и всегда в доме не лишняя… Когда ее попросили уступить, она уступила охотно, без всяких отговорок, каждой по пуду.

К ней поехали тогда остальные за мукою — и остальным она не отказала, только прибавила, что уж больше она муки не может уступить, а оставалась без муки одна Глафира Ивановна. Знала Глафира Ивановна, что мука была закуплена назло ей, а все это последнее известие ее потрясло, и много еще она слез пролила; сильней заныло сердце у Алексея Петровича, и большая его грусть взяла и печаль.

После отчаяния и слез явились у Глафиры Ивановны ее обычная находчивость, живость, предприимчивость и проворство. Она отправила нарочного к своей маменьке с письмом; описала все, что ее постигло; просила советов и муки немедленно. Она призвала свою ключницу и сказала ей: "Скачи сейчас в губернский город и привези мне муки; я дам тебе десять рублей, я дам тебе вольную, что хочешь дам! А без муки не ворочайся и на глаза мне не показывайся!" Ключница сейчас же помчалась на четверке лошадей. Глафира Ивановна была сама у Мошки: "Я дам тебе какую хочешь цену — достань мне муки". И Мошка куда-то исчез за мукою.

Четвертая неделя поста была уже на исходе.

В четверг на пятой неделе воротился Мошка с новою мукою. Мука была хороша, но сыра. В субботу верховой прискакал от маменьки. Маменька посылала муку и писала Глафире Ивановне, что если, по несчастью, бабы не удадутся, так не показывать виду, что не удались, а ехать к ней на праздники. Ключница приехала из губернского города во вторник на шестой неделе и тоже привезла муки. Муки было много, и муки хорошей, только вся она сыровата была.

Глафира Ивановна не могла предаться судьбе с покорностью, она целые дни тревожилась, до упаду хлопотала, плакала, изнывала… А Алексей Петрович совсем захирел от этих страхов да беспокойств. Он клеил из бумаги формы для баб, со вздохом целовал руки у жены и совсем почти перестал говорить.

Анна Федоровна сказывалась больною и нигде не бывала. Кто ее приезжал проведать, тот находил ее в комнате с закрытыми ставнями, в темноте; только горела лампада перед образами. Анна Федоровна сидела в кресле бледная и печальная; при громком слове она вздрагивала, при всяком шуме или стуке вскрикивала.

Наступила страстная неделя. Тогда-то вот и приходит настоящее бедствие. Тогда замечают, весело ли поет канарейка; тогда ставят свечи угодникам и бледнеют и отчаиваются, если встретятся с монахом или со священником; тогда, боже сохрани, помянуть в доме лешего; тогда укрощают в себе гнев, а пуще всего избегают, чтобы не вырвалось какое проклятие. При таких хлопотах, заботах и тревогах кто с собою совладает? Трудно. Тогда, спохватившись, читают особенную молитву.

Если так проходит эта неделя в безмятежные и спокойные года, как же прошла она в этот год в Журбовке и в Саковке?

В светлое воскресенье день был теплый, совсем весенний; пахло березовыми почками, шумела полая вода и журчали ручейки с каждой горки. По небу носились весенние тучки, солнце светило не ярко, а тепло. Так еще солнце светило, что от него не хотелось спрятаться в тень, а хотелось под ним постоять и понежиться.

В саковскую гостиную солнце било во все окна: посреди гостиной стоял стол, длинный-длинный стол, под тонкою белою скатертью, а на столе стояла баба… Как же эту бабу описывать? Не всякий может описать хорошо.

"Она была круглая, большая-пребольшая, бледно-желтого, нежного цвета, а вышиною с трехлетнего рослого ребенка. Она легка, ужасно легка, верно, больше фунта не весит, а может, и меньше; тесто ее дырчатое, наподобие тюля; вкус ее сладкий, душистый и необыкновенный".

Вот как описывалась эта баба в одном письме из А-ского уезда, и лучшего описания не нашлось.

Теперь надо вообразить, что баба эта стоит на столе, а около стола ходят Глафира Ивановна и Алексей Петрович; что чехлы сняты с

диванов и кресел, пунцовая обивка так и переливается на солнце, что на столе около бабы всякие печенья, разные жареные птицы, колбасы, ветчина, сыры, жареный барашек с миртовой веточкой в зубах и барашек из масла с голубым флагом, крашеные яйца, сливочные кремы, миндальные торты… Между всем этим расставлены букеты цветов и зелени в высоких фарфоровых вазах, вина, наливки и водки в бутылках и в графинах, фрукты в корзиночках, варенья и конфеты на хрустальных тарелочках… А Глафира Ивановна и Алексей Петрович ходят около стола.

Боже мой, как хороша Глафира Ивановна в розовом платье! Какие у нее блистающие глаза! Какой живой румянец на щеках! Какая у нее улыбка! Как разодет Алексей Петрович и как надушен жасмином! Боже мой, как они оба веселы и счастливы! Боже мой, как они поглядывают на бабу, а потом друг на друга! Разговор у них только начинался словами, а велся улыбками да взглядами, и вдруг они оба задумывались,— знаете, как задумываются люди в счастии о прошедших бурях, с улыбкою на лице…

— Ты понимаешь это, Алеша,— говорила Глафира Ивановна,— но все-таки ты этого не испытал сам… Я испытала!. Как посадили ее в печь, я упала на колени; думала, что я не переживу! Упала и встать не могу…

— Ох, Глашечка! Я ужасно рад,— говорил Алексей Петрович…— Посмотри, какова вышла! Нет, зайди-ка вот из уголка да взгляни, что?

Заходили, глядели из уголка, потом шли — любовались издалека, из другой комнаты, потом опять из уголка.

Начали съезжаться соседи с поздравлениями. Кто ни войдет, остановится в дверях, как вкопанный… потом восклицания, потом хвалы… А некоторые так просто терялись: тихо садились в уголок, подпирали голову рукою и говорили про себя: "Нет, это уже слишком!" У

иных глаза разбегались, и они не знали, куда кинуться: то кидались к бабе, то к Глафире Ивановне, и только охали.

Бабу называли чудом, дивом, Глафиру Ивановну розою, султаншею; а один помещик, который любил толковать о Магомете, назвал ее гурией. У Алексея Петровича спрашивали: "За что вам такое счастье, Алексей Петрович?"

Шум и волненье были ужасные.

Когда в Саковке все уже спало после торжества и трудов, у соседей мало кто глаза сомкнул; у них шли толки да разговоры. Сначала говорили дамы и мужчины, потом мужчины наконец умолкли, а дамы почти до свету не унимались, они укоряли, что мужчины рады увлекаться всем на свете, что мужчины выдают муху за слона, что подняли шум бог весть из чего и что не стоит об этом по-настоящему и слова говорить.

На другой день праздника к Глафире Ивановне приехали дамы. Дамы всегда ездят только на второй день, но всегда считаются чином, богатством, летами, долгим замужеством, всем, чем можно,— теперь это было забыто и почти все приехали к Глафире Ивановне первые. Усидели дома только самые твердые и закаленные.

Дамы входили в гостиную и бабы сначала не замечали, а заметивши, ни удивления, ни восторга не показывали. Иные говорили Глафире Ивановне: "А у вас, Глафира Ивановна, прекрасная баба!" — таким голосом, будто баба была самая ничтожная. Иные говорили: "Откровенно признаюсь, я не хозяйка,— не могу себя принести в жертву кухне,— я вот читаю разные книги..." Иные только прищуривались; иные только улыбались. Ни шуму, ни видимого волнения не было; напротив, дамы стали как-то небрежнее и холоднее. Они сидели и говорили о канвовых узорах, вспоминали прошлую зиму; казалось, они и думать забыли о тюлевой бабе...

Но Глафира Ивановна была весела и счастлива; она сознавала, что за баба у нее стояла на столе, и знала, что за буря в душе у всех дам под видимым равнодушием.

Между тем как дамы сидели у Глафиры Ивановны в гостиной и разговаривали небрежно, к Глафире Ивановне приехал знакомый из ее уезда, тот самый помещик, что первый смутил Анну Федоровну своими рассказами о тюлевой бабе.

Он вошел в гостиную, остановился и глядел на бабу. Он глядел на нее как человек, видевший не раз чудо, глядел без удивления и без тревоги, а спокойно и с радостью. Потом он подошел к Глафире Ивановне, поцеловал у нее ручку и раскланялся с дамами.

— Наслышался я о ваших бедствиях с мукою, Глафира Ивановна,— сказал гость,— а в вас не усомнился. Многие у нас усомнились, а я нет. Я всех успокаивал, матушка, я знал, на кого надеюсь!

Глафира Ивановна улыбалась весело гостю и потчевала его.

Дамы, смотря по нраву, иные тоже улыбались, иные глаза прищурили, иные стали перешептываться, иные спросили у гостя: "Как ваше здоровье, Петр Дмитрич?"

Петр Дмитрич подошел к бабе, сказал: "Премилая!",— а потом вышел на середину гостиной, посмотрел на всех и проговорил вполголоса:

— Только вы этою бабою нанесли смертельный удар одной особе здешнего уезда.

Глафира Ивановна засмеялась и просила сказать, кому же? Дамы вспыхнули и опять, смотря по нраву, кто стал улыбаться, кто щурить

глаза, кто ахнул, кто вскрикнул, а некоторые встали и спросили Петра Дмитрича:

— Петр Дмитрич, что вы под этим подразумеваете и кого?

— Я не говорю про здесь присутствующих,— сказал Петр Дмитрич.

— Это не ответ,— говорите прямо! Скажите, кого именно вы подразумевали? — загремело со всех сторон.

— Да Петр Дмитрич скажет, конечно,— вкрадчиво зажужжали другие голоски.— Петр Дмитрич такой добрый!

— А если вы меня да выдадите? — сказал Петр Дмитрич.

— Как можно! Какое у вас обо мне мнение!

— Клянусь, я как услышу, сейчас же забуду!

— Вы можете быть уверены!

— Скорей умру! — посыпались дамские уверения.

— Нанесен удар Анне Федоровне Журбовской,— громко проговорил Петр Дмитрич.— Да-с. По мужу она вам родственница, Глафира Ивановна, а греха нечего таить!

Глафира Ивановна вся побледнела.

— Рассказывайте! Рассказывайте! — зашумели дамы.— Садитесь и рассказывайте, Петр Дмитрич!

Петра Дмитрича усадили. Дамы тоже уселись, сложили ручки, вытянули шейки и навострили ушки. Иные, впрочем, глядели и сидели важно. Глафира Ивановна стала около Петра Дмитрича. Она ему ничего не сказала, стояла и только в лице менялась.

— Я приезжал в ваш уезд по делу, недели за три до Глафиры Ивановниной свадьбы, и заехал тогда на минутку к Анне Федоровне. Знаю, какая она хозяйка и какую страсть имеет к печению баб...

Дамы улыбнулись.

— Вот я и говорю ей, что ваша, мол, будущая родня, Глафира Ивановна, такие бабы печет, каких еще свет не видывал!— Анна Федоровна мне не верит, спорит со мной. Я ей описывал, описывал да и спрашиваю: а знаете ли вы, Анна Федоровна, что такое тюлевая баба? Анна Федоровна как взвизгнет: "Воды мне! Воды! Я умираю!" До смерти меня перепугала. Тут ее водою опрыскали, спирты разные давали нюхать, едва пришла в себя...

Ну, а чувства свои все-таки скрыть хочет, просит меня у нее отобедать. Сели мы за стол, я есть ничего не могу, такая она сидит передо мной отчаянная... Так я голодный и уехал... Делами я был тогда по горло завален, а тут еще одна сестра замуж шла, другая сестра имение покупала, все время у меня прошло в разъездах да в хлопотах до великого поста; на четвертой неделе поста я воротился домой и отовсюду слышу о вашем бедствии с мукою...

Приехал бы, матушка, и раньше, да страшная распутица была, а только спала немножко полая вода, видите, я и тут; даже у многих родных не побывал, спешил.

По дороге заезжаю к Анне Федоровне, гляжу кругом да соображаю: каковы бабы вышли?

— Как это вы сообразить можете? — спросили две дамы.

— Очень легко-с. Если бабы где удались, так люди там веселы, разряжены, по двору бегают собаки, хозяйка из окна глядит… А не удались бабы, то во дворе пусто, всякое животное избито и прячется, люди угрюмы, хозяйке нездоровится…

— Какие пустяки! — заспорили многие дамы.— Какие пустяки!

— Вот я приезжаю и вижу, что бабы, кажется, удались. Вхожу в дом, везде накурено благовонными порошками, в зале две новые канарейки поют: знаете, все уж подведено так, чтобы человека обольстить; стол под тончайшей скатертью, и на столе всякая всячина… и бабы возвышаются… изрядные бабы… Встречает меня Анна Федоровна, разряжена и довольна, но беспокойна; подводит меня к столу, потчует… Я у нее и спроси: а что ваши родные, Анна Федоровна? Что Глафира Ивановна да Алексей Петрович, как поживают?

Спросил, сударыня, да и не рад был: чуть меня Анна Федоровна не умертвила…

— Что же она говорила? — спросила Глафира Ивановна, преодолевая свое волненье.

— Что же было между вами? — спросили дамы.— Что?

— Ни словами рассказать, ни пером описать! — отвечал Петр Дмитрич.

— Ну, хотя одно ее слово передайте,— сказала опять Глафира Ивановна.

— Нет! Нет! Передайте все, все, все, все! — зажужжали дамы.

— Невозможно передать! Невозможно! — говорил Петр Дмитрии.

— Повторите ее слова!

— Да что слова! Не в словах дело! Анна Федоровна, вы знаете, женщина тонкая, ее на словах трудно поймать... Она глядела, сударыни, глядела так, что слов не надобно... Глядит, глядит на меня и приближается, приближается ко мне, точно братья-разбойники... знаете, там, у Пушкина...

— Да что ж говорила она? Ведь что-нибудь она вам да говорила!

— Имел честь и удовольствие доложить вам, что женщина она тонкая и ее на словах не поймаешь. Вскрикнула она: "А чтоб тебе добра не было вовеки!" — "Кому, Анна Федоровна?" — спрашиваю. "Да это,— говорит,— я об стол зашиблась, так на стол так сказала".— И сейчас же стала креститься и молитву читать. "Лукавый,— говорит,— попутал, грешные слова произношу".

— Однако пора ехать,— сказали некоторые дамы.

— Ах, ах! Давно, давно пора! — вскрикнули другие.— Засиделись мы у вас ужасно, Глафира Ивановна. Да и вас задержали, ведь вам тоже надо ехать.

— Да, я поеду тоже,— ответила Глафира Ивановна,— только дождусь мужа.

— Приезжайте-ка вы к Анне Федоровне,— сказала одна веселая дама,— приезжайте, мой ангел, от души натешимся!

— Да, приезжайте, Глафира Ивановна, приезжайте! — подхватили остальные дамы.— Вы приедете, как будто вы ничего не знаете... Мы вас там будем ждать; обещаетесь нам, что приедете?

Глафира Ивановна обещалась, и все дамы от нее уехали.

Глафира Ивановна стала быстро ходить взад и вперед по гостиной, а Петр Дмитрич ходил за ней; потом Петр Дмитрич остановился и начал:

— Экие чечетки эти дамы, а ведь преехидные!

Глафира Ивановна ничего не отвечала и, кажется, слов Петра Дмитрича не слыхала; она ходила все быстрей и быстрей; видно было, что мысли у нее роились, и что все ее чувства волновались.

— Не правда ли, Глафира Ивановна, что они преехидные? — опять сказал ей вслед Петр Дмитрич.

— Да, да! — ответила Глафира Ивановна. И все носилась по гостиной.

— Если о них вам рассказать, Глафира Ивановна… Ведь я о каждой могу рассказать… Вот, например, хоть бы о Словчевской… Знаете ли вы, что эта Словчевская говорила? "Глафира Ивановна совсем нехороша! У нее даже одна нога короче, а другая длиннее; только что она это искусством от людей скрывает…"

Глафира Ивановна вспыхнула и вдруг остановилась.

— Какая лгунья эта Словчевская! — сказала она.

— Потом Словчевская говорила, что у вас все личико в веснушках ужасных, Глафира Ивановна, и что вы без притираний жить не можете! И поверите ли? Даже у нас все стали вас подозревать, а здесь и подавно обрадовались до смерти.

Глафира Ивановна опять остановилась.

— Злым языкам всегда верят, Глафира Ивановна… Очень злые есть языки, а впрочем, бывают и большие несчастья,— могло и с вами несчастье случиться, могли вы прекрасный цвет лица потерять, могли тоже как-нибудь оступиться и ножки себе повредить…

И Петр Дмитрич умолк; он стал глядеть на Глафиру Ивановну так пристально и печально, точно с ней случилось такое несчастие.

— Многие об вас очень жалеют, Глафира Ивановна…

Тут Глафира Ивановна его перебила, Глафира Ивановна заговорила…

Часа через два Петр Дмитрич простился с Глафирой Ивановной и уехал. Ехавши, он все сам себе улыбался, а после часто говорил своим знакомым: "У Глафиры Ивановны не одна стрелочка в сердце в тот день засела!"

Глафира Ивановна надела свое лучшее платье. Какие чудесные были на ней башмачки! Глафира Ивановна не один раз посмотрела на свои ножки и не один раз погляделась в зеркало, не один раз подходила к тюлевой бабе, не один раз Глафира Ивановна задумывалась, не один раз улыбалась и хмурилась,— и нетерпеливо ждала Алексея Петровича.

Алексей Петрович приехал домой весел и радостен.

— Глаша! — кричал он еще со двора Глафире Ивановне.— Все бабы я видел,— все ничтожные, Глашенька, все до одной!. Только у тетеньки не видал, да без сомненья — тоже…

Глафира Ивановна быстро пересказала мужу, что слышала от Петра Дмитрича о тетке и о Словчевской. Алексей Петрович ужасно вспылил, стал вскрикивать и грозиться:

— Нет, Глаша, нет, это ни на что не похоже! Я им отплачу! Меня Словчевская узнает!. Нет, Глаша, я этого не спущу!

— Поедем к тетеньке, Алеша,— сказала Глафира Ивановна,— пора.

— Лучше совсем не ездить туда, Глаша. Зачем ездить? Только чтоб сердце замирало?

— Поедем, Алеша. Поедем, я хочу.

Им подали коляску, и они поехали к Анне Федоровне. Дорогою они молчали. Глафира Ивановна думала и волновалась. Алексей Петрович пересердился и притих; так они доехали до Журбовки.

Барский двор был заставлен экипажами, дам была полна гостиная; все они ждали Глафиру Ивановну.

Глафира Ивановна вошла в гостиную словно ослепленная и ошеломленная, голова у нее кружилась и в глазах темнело. Дамы протягивали ей руки, вскрикивали, говорили,— она никому ничего не отвечала. Анна Федоровна встретила ее, и они похристосовались. Губы у обеих были холодные. Анна Федоровна проговорила что-то чуть слышно, а у Глафиры Ивановны вовсе не стало голосу ей ответить. Глафира Ивановна села на диван, как раз против праздничного стола. Тут она немножко пришла в себя… Бабы у Анны Федоровны были хороши, но с тюлевой бабой их сравнить было нельзя.

— Она нас встретила такая веселая,— шептали дамы Глафире Ивановне справа и слева,— потчевала нас, смеялась, а мы стали о вашей тюлевой бабе говорить, вдруг она до того изменилась в лице, что мы перепугались, а тут вы приехали — она уж и совсем потерялась…

И вправду Анна Федоровна была как потерянная. Она ни слова не говорила, а только всех потчевала и на всех глядела пристальными

глазами. Дамы все ждали, что же выйдет, и все ничего не выходило, а уж вечерело. Напрасно они всячески вызывали, напрасно раздражали и намеками и улыбками, Анна Федоровна и Глафира Ивановна точно не слыхали и не видали, что вокруг них творится,— ничего не выходило и не вышло. Дамы ждали и надеялись до тех пор, пока Анна Федоровна на все вопросы стала отвечать, что чувствует сильные боли в голове. Тогда все встали и уехали. Уехали рассерженные и огорченные. Уехала и Глафира Ивановна с мужем домой…

На другой день в Саковке поднялись до свету. Ночью не спалось, головам было тяжело, но ни Глафира Ивановна, ни Алексей Петрович не жаловались, а только будто бессознательно брались за голову. Было не до головы, не до жалоб теперь.

— Как думаешь, Алеша,— говорила Глафира Ивановна мужу — она приедет сегодня к нам?

— Не приедет, Глаша. Какая ей радость ехать! На ее месте никто не поедет.

— А я бы непременно поехала. Она приедет к нам, Алеша… Помяни мое слово, приедет…

— Ах, чем все это кончится и когда кончится! Душа не на месте…

— Да чего ж ты боишься, Алеша? К чему такое нетерпение!

Алексей Петрович стал ходить по комнате, опустивши голову, а Глафира Ивановна села у окна. Было тогда шесть часов утра. День еще не разгулялся, и было очень свежо. Перед окнами бил крыльями и пел красный петух; кто-то невидимый громко кашлял с приговоркою: "Ах, боже мой!" На реке сидели белые гуси, завернувши головы под крылья, и за рекой село проснулось: там голоса перекликались, слышался стук колес, видно было, как нагибались колодезные шесты и как люди

выходили из белых хат, стояли или спешили по улицам, и как над каждой хатой вился дымок. Глафира Ивановна сидела у окна, Алексей Петрович шагал по комнате, а часы шли. Время от времени Глафира Ивановна вставала и подходила к тюлевой бабе; за Глафирой Ивановной подходил Алексей Петрович: постоят и повеселеют, и опять Глафира Ивановна у окна сядет, а Алексей Петрович шагать по комнате начнет.

Глафира Ивановна угадала, а Алексей Петрович ошибся: скоро после полудня показалась коляска Анны Федоровны за рекой, на горе. Глафира Ивановна вскочила с кресла.

— Едет! Едет! — вскрикнула она.— Я говорила тебе, Алеша!

Алексей Петрович остановился среди комнаты и проговорил:

— Что же теперь, Глаша?

— Пойдем встречать… не показывай виду… будь весел… будь небрежней…— учила его Глафира Ивановна.

Голос у нее прерывался, она металась кругом стола и переставляла с места на место яства.

Но коляска у крыльца. Глафира Ивановна с пылающими щеками тихими шагами вышла встречать Анну Федоровну; за Глафирой Ивановной держался смирно Алексей Петрович.

Анна Федоровна вошла и села. Глаза ее обратились сейчас же на стол, она увидала тюлевую бабу…

Глафира Ивановна начала весело говорить о празднике; какой хороший праздник в этом году, как тепло и сухо; Анна Федоровна ни слова ей не отвечала и глядела на бабу. Глафира Ивановна стала потчевать; она поднесла Анне Федоровне ломтик тюлевой бабы. Анна

Федоровна дрожащей рукой взяла тарелку и долго перед собой держала, пока попробовала ломтик. Потом она переменилась в лице, Глафира Ивановна взяла у ней из рук пустую тарелку и спросила: "Как вам нравится, тетенька?" Но Анна Федоровна не ответила и сидела, как деревянная, уставив глаза в землю. Жалко было видеть ее. У Глафиры Ивановны было сердце отходчивое, к тому ж она свое доказала, она победила; ей стало жалко Анну Федоровну; она взглянула на мужа,— у мужа были слезы на глазах, и он глядел на нее, точно упрашивал…

Глафира Ивановна подошла к Анне Федоровне поближе и сказала ей ласково:

— Тетенька, успокойтесь!

За женой бросился к тетке Алексей Петрович, схватил ее за руку:

— Тетенька, нам самим жалко…

— Нечего жалеть! — вдруг проговорила Анна Федоровна.— Я ни о чем не жалею!

Она вырвала свою руку у Алексея Петровича, встала и быстро вышла на крыльцо, с крыльца крикнула своему кучеру подавать коляску и приказала ехать в город. Кучер думал, что ослышался, и поехал по дороге домой.

— В город, к куму! Скорей! — крикнула Анна Федоровна.

Кучер обернулся, поглядел на нее, потом повернул на дорогу, что шла в город.

Глафира Ивановна и Алексей Петрович остались, как громом пораженные. Первая пришла в себя Глафира Ивановна, раскричалась и залилась слезами.

— Ах, Алеша, Алеша! Какая это ужасная женщина!

— А мне еще так жалко ее стало! — пенял сам на себя Алексей Петрович.— Это ужас!

— Я ее уговаривала! Это нам непростительно! Непростительно! — вскрикивала Глафира Ивановна.

Они то на себя пеняли за мягкосердие, то судили Анну Федоровну, то жаловались на обиды, на коварство, и вдруг Глафира Ивановна вскрикивала:

— А все-таки чей верх?

— А все-таки наш верх! — вскрикивал Алексей Петрович.

На душе у них отлегало…

А между тем Анна Федоровна шибко ехала и приехала в город прямо под крыльцо серого деревянного дома, в восемь окон на улицу, с зелеными ставнями. Крыша была красная, тесовая, с двумя высокими белыми трубами, а на трубах петушки. Когда Анна Федоровна приехала, ветерок был небольшой, и петушки едва повертывались, едва скрипели. Около крыльца сидел старый мрачный солдат и шил смушевую шапку. Увидавши коляску, он подошел поспешно, отворил дверцы, высадил Анну Федоровну,— при этом он вместо поклона кучеру моргнул, а кучер на его морганье приподнял шапку,— потом он отворил Анне Федоровне дверь в комнаты.

Анна Федоровна быстро прошла четыре первые комнаты. Эти комнаты были одна в одну совершенно одинаковы: просторные, высокие, с белыми стенами; у стен стулья на тоненьких ножках, плотно друг к дружке; посередь комнаты стоял круглый стол, посередь потолка висела клетка с птичками. Везде сильно пахло смолой и

крепким табаком. Пятая комната была больше всех, обита желтыми обоями; тут стояли два стола на вытянутых ножках и диван с высокой спинкой, с круглыми ручками, подбоченившийся, точно хвастливый военный человек; на диване вышитые подушки; на потолке висела клетка с горлицей; на одном столе лежало житие и псалтырь, а на другом стояли новые ботфорты. Из этой комнаты в другую двери были полузатворены, и оттуда выходил дым клубом.

Анна Федоровна вошла в желтую комнату и кликнула:

— Кум! Кум, где вы? Кум, выходите!

— А, кума пожаловала! — отвечали громким басом.— Милости просим!

К Анне Федоровне вышел городничий в пестром халате, с длинным чубуком в руках. Он был высокого роста. Глаза у него большие, голубые, взгляд быстрый и строгий, точно этот взгляд везде искал подчиненного; лоб маленький, узкий, да и тот почти весь зарос густыми черными бровями. Еще больше и черней бровей были усы; из-под усов иногда видны были красные губы и белые, совсем крепкие зубы; всердцах городничий страшно скрежетал зубами, а жесткие волосы с проседью надо было насильно приглаживать и в спокойном состоянии духа. Говорили, что нрав у городничего был упрямый, задорный и пылкий, а, впрочем, городничий был услужлив и добродушен. Он был охотник до птиц, ловил их сам и скупал у других, а потом переучивал жить на свой лад и для этого сажал синиц в одну клетку с чижами и наблюдал, чтобы они жили мирно; испытывал, может ли горлица прожить без пары, а кобчик без мяса, на воде и каше, и спорил, что все птицы любят табачный дух, когда с ним освоятся. Он терпеть не мог евреев и всячески им допекал: "Потому что я христианин",— говаривал он; часто ходил в церковь и подтягивал дьячкам; любил у себя гостей принимать, и у него была привычка в чем-нибудь всегда извиняться, а вслед за тем оговаривать свои извинения.

Только он в двери, Анна Федоровна что-то заговорила, но он покрыл ее голос своим басом:

— Милости просим, кумушка, милости просим! Извините, что я в халате, а впрочем, я всегда почти в халате, вечерком даже и по городу хожу. Садитесь, кумушка, чем вас потчевать прикажете? Вы извините, что у меня ботфорты на столе, а впрочем, это новые ботфорты и вы не барышня, вам нечего стыдиться.

Как только умолк городничий, поднялся голос Анны Федоровны, голос хотя дребезжащий, но громкий и раздраженный.

— Если вы мне друг, если вы мне кум, если в вас есть божеская искра, защитите меня! Меня обманул жид Мошка…

Городничий сидел, слушал хотя с удивлением, а спокойно, но только Анна Федоровна упомянула жида Мошку, городничий подпрыгнул, словно его змея ужалила, и закричал изо всей силы:

— Михайло! Михайло! Где десятские? Привести ко мне сейчас жида Мошку, живого или мертвого!

На крик вошел Михайло, тот самый солдат, что шил у крыльца смушевую шапку, и спросил: "Что угодно?" Городничий затопал ногами.

— Мошку мне! Мошку! Сейчас Мошку! Вяжите его и ведите ко мне!

Михайло ушел.

Анна Федоровна, видя, какое участие принял кум в ее горе, стала плакать и рассказывать.

— Я вам расскажу, кум,— говорила она,— я вам расскажу, что этот Мошка…

— Да не надо и рассказывать,— прервал городничий,— я и так знаю, что все они негодяи.

— А я вам расскажу, кум,— настаивала Анна Федоровна.— Я, видите, на третьей неделе поста купила у Мошки двадцать пудов муки за чистые деньги… И Мошка божился, что продал мне самую лучшую муку… и я сама обыскала всю его лавку,— муки не было… а потом он вдруг продает муку… а я знаю, что подвозу не было… значит, он утаил… обманул меня…

Двое десятских ввели Мошку.

Мошка был молодой и красивый человек: глаза темные, как черносливы, и черные волосы вились, нос с горбиком, а лицо белое. Когда его ввели, он побледнел, как смерть, от испуга, и во все глаза смотрел на городничего. Городничий смотрел на Мошку и усмехался. Усмешка была очень свирепая.

— Добро пожаловать, господин христопродавец! — сказал городничий.— Мне желается с тобой словцо перемолвить.

— Я ни в чем не виноват,— проговорил Мошка.

— Не виноват! — вскрикнула Анна Федоровна.— А ты бож…

Городнический бас все заглушил…

— Ведите его в полицию!

Мошку повели. Мошка хотел что-то говорить, городничий велел десятникам закрыть ему рот…

Только вывели Мошку на крыльцо, к нему бросилась молодая, больная на вид женщина, его жена. Десятские ее отстранили и повели Мошку дальше; она, пошатываясь, но быстро, пошла за ними следом; слезы у ней лились в три ручья, она стонала и ломала руки.

Городничий крикнул из окна Михайле:

— Гони ее!

Михайло ее погнал…

Городничий велел подавать самовар и послал звать на чай приходского священника и отставного ротмистра с женою.

— Устроим мы, кумушка, пир,— сказал он Анне Федоровне.— За угощенье извините: чем богаты, тем и рады, а впрочем, не о хлебе едином жив человек…

Но Анна Федоровна не осталась на чай у кума; как он ее ни упрашивал, она уехала домой.

Через неделю после этого Анна Федоровна, ни с кем не простившись, отправилась с внучкой на богомолье. История с Мошкой разнеслась; к Анне Федоровне приезжали многие посудить и потолковать, но Анна Федоровна до самого отъезда сказывалась больною и никого не принимала,— всем у нее отвечали: "Анна Федоровна нездоровы, только что изволили започивать",— и как ни долго ждал иной терпеливый и настойчивый гость, Анна Федоровна при нем не просыпалась.

Отъезд Анны Федоровны удивил; о нем судили и рядили. Глафире Ивановне и Алексею Петровичу этот отъезд принес еще более волнений и сомнений: была близко Анна Федоровна, казалось худо, а уехала Анна Федоровна, показалось, будто еще хуже стало.

Редко друзья так ежеминутно помнят и ежечасно говорят об отсутствующем друге, как помнили и говорили в Саковке об Анне Федоровне.

На другой день после того, как посадили Мошку в полицию, слегла его жена. (Она была всегда хворая и больная). Через два дня у нее родился преждевременно ребенок, а еще через четыре дня и ребенка и мать схоронили. Мошкин дом опустел, окна заколотили досками, на двери наложили печати.

С тех пор, как взяли Мошку, евреи стали ходить толпою. Правда, это была робкая толпа: завидя десятского, она разбегалась, но через минуту сбиралась опять; потом толпа перестала пугаться десятского, а потом пришла утром на площадь и стала перед окнами городнического дома. На каждом лице было томление и страх; казалось, каждый готов убежать, а не бежал никто. Жалко было их трусости, и можно было подивиться их твердости.

Городничий отворил окно и закричал из окна:

— Как они смели прийти и зачем?

Голоса из толпы спросили: за что Мошка сидит в полиции? Другие голоса стали рассказывать историю о муке и спрашивали: где тут Мошкина вина? Из задних рядов раздалось, что бог видит неправду и за неправду наказывает…

Городничий вышел из себя, разбил стекла в оконной раме и приказал разогнать евреев. Их гнали, но они жалобно кричали и не шли.

Один молодой еврей выбежал из толпы к самому окну и, обливаясь слезами, закричал, что все они пойдут просить защиты к самому губернатору.

К вечеру, однако, толпу отлично разогнали.

Но городничий простить этого не мог. Гласно Мошку обвинить было не за что: городничий принялся за розыски, отыскал какую-то контрабанду, захватил австрийские чаи; тут попался и Мошка, и много других евреев. Дело потянулось и долго тянулось. Через год только выпустили виноватых. Кому было на что завести торговлю, те принялись опять за нее, а кому не на что было, те жили на свете, как бог велел, и своя оборотливость помогала.

Мошка ушел из города, и с тех пор о нем не было никаких вестей.

Глафира Ивановна и Анна Федоровна перестали бывать друг у друга и по-прежнему друг другу жизнь отравляют.

Кажется, с каждым днем растет их вражда.

Встретятся они в церкви,— как Глафира Ивановна покраснеет, как гневно у нее глаза засверкают! Она улыбается и глядит на Анну Федоровну, как на вредного, ничтожного червяка, а Анна Федоровна от нее сторонится, как от ядовитой змеи. Беспрестанно что-нибудь выходит между Журбовкой и Саковкой. То Глафира Ивановна прикажет разобрать мостик, по которому переезжают овраг между саковскими и журбовскими землями; Глафира Ивановна радуется. Анна Федоровна горюет, а прочие, непричастные к делу люди, недель пять не могут через ров переправиться, хоть там родной отец умирай; то Анна Федоровна прикажет воду спустить, и саковская мельница перестает молоть. Глафира Ивановна гневается и плачет. Анна Федоровна утешается, но прочие мельницы на реке тоже перестают молоть, и хозяева ни за что ни про что в убытке. Война без отдыху идет. Глафира

Ивановна, несмотря на частый гнев и на частые слезы, к этой войне пристрастилась; Анна Федоровна, каковы ни были поражения, всю свою душу в эту войну положила. Алексей Петрович вздыхает, и хотя иногда и у него разыгрывается душа, но всегда он больше похож на строевого солдата, чем на вольного ополченца: верно защищает, но не охоч нападать. Не по его смирному нраву такая тревожная жизнь; в последнее время он стал больше книги читать и больше спать. Годы идут, и война идет у Глафиры Ивановны с Анной Федоровной. Только смертью, должно полагать, война их прекратится. А смерть, и самая дальняя, не за бог весть какими горами…